

## 11 СЕНТЯБРЯ, RUE TOUILLER<sup>1</sup>

Сюда, значит, приезжают, чтоб жить, я-то думал, здесь умирают. Я выходил. Я видел: больницы. Видел человека, который закачался, упал. Его обступили, я был избавлен от остального. Видел беременную. Она тяжело брела вдоль высокой теплой стены и все ощупывала ее, как проверяла, не делась ли куда-то стена. Нет, стена никуда не делась. А за нею? Я сверился с планом: *Maison d'Accouchement*<sup>2</sup>. Хорошо. Ей помогут разродиться, там это умеют. Дальше — rue *Saint-Jacques*<sup>3</sup>, высокое здание под куполом. В плане — *Val-de-grâce, Hôpital militaire*<sup>4</sup>. Мне, собственно, это было незачем знать, впрочем,

---

<sup>1</sup> Улица Тулье (*фр.*), расположена в центре Парижа, на которой поселился Рильке в 1902 году. — (*Здесь и далее, кроме особо оговоренных случаев, примеч. пер.*)

<sup>2</sup> родильный дом (*фр.*).

<sup>3</sup> Улица Сен-Жак (*фр.*), находится в Латинском квартале Парижа.

<sup>4</sup> Букв., «долина милосердия» (*фр.*) — римско-католический храм, где располагается одноименный госпиталь.

не помешает. Улица стала вонять. Воняло, насколько я мог различить, йодоформом, чадом от жареной картошки и страхом. Летом воняют все города. Потом я увидел дом, странно слепой, как в бельмах, в плане он не значился, но я разобрал над дверьми: *Asyle de nuit*<sup>1</sup>. У входа были цены. Я прочел. Сходные цены.

Что еще? Ребенок в коляске. Опухший, зеленый, на лбу четкая сыпь, она, видно, уже подживала, ему было не больно. Ребенок спал, рот был разинут, вдыхал йодоформ, чад картошки и страх. Вот так-то. Главное, что живешь. Это главное.

Никак не могу отучиться спать с открытым окном. Судорожный дребезг трамвая насквозь пробивает комнату. Надо мной проносятся автомобили. Хлопает дверь. Где-то разбилось со звоном стекло, большие осколки хохочут, хихикают мелкие, я все это слышу. Потом вдруг — сдержанной, глуше — шум с другой стороны, где-то в доме, внутри. Кто-то идет по лестнице. Идет, идет — без конца. Уже тут, давно уже тут. И — мимо. И снова улица. Визжит девушка: «*Ah, tais-toi, je ne veux plus*»<sup>2</sup>. Вверх летит звон трамвая, над всем, сквозь все, прочь, прочь. Кричит кто-то. Бегут, обгоняют друг друга. Собака лает. Какое облегченье — соба-

<sup>1</sup> Ночной приют, ночлежка (фр.).

<sup>2</sup> Да замолчи ты, я не хочу больше (фр.).

ка! Под утро даже поет петух — невыразимая благодать. Потом вдруг я засыпаю.

Я учусь видеть. Не знаю, отчего это так, но все теперь глубже в меня западает, не оседает там, где прежде вязло во мне. Во мне есть глубина, о которой я не подозревал. Все теперь уходит туда. И уж что там творится — не знаю.

Сегодня писал письмо и вдруг сообразил, что ведь я здесь всего три недели. Три недели в другом месте, в деревне, например, промелькнули бы как один день, здесь это целая вечность. И не буду я больше писать писем. Зачем сообщать кому-то, что я меняюсь? Если я меняюсь, я уже не тот, кем был, я уже кто-то другой, и, стало быть, у меня нет знакомых. А чужим людям, людям, которые не знают меня, я писать не могу.

Я говорил уже? Я учусь видеть. Да, начинаю. Пока еще дело идет неважно. Но я учусь.

Например, прежде мне не приходило в голову, какое на свете множество лиц. Людей — бездна, а лиц еще больше, ведь у каждого их несколько. Есть люди, которые одно лицо носят годами, оно, разумеется, снашивается, грязнится, может прохудиться на складках, растягивается, как перчатка, которую надевали в дорогу. Это — простые, бережливые люди; они не меняют лица, даже не отдают его в стирку. Сойдет, говорят они, и кто им докажет обратное?

Но напрашивается вопрос, раз у них несколько лиц, — что делают они с остальными? Они их берегут. Еще дети поносят. Однако, бывает, их пес, выходя на прогулку, щеголяет в хозяйском лице. Ну и что такого? Лицо есть лицо.

А есть люди, которые невероятно часто меняют лица, одно за другим, и лица на них просто горят. Сперва им кажется, что на их век лиц хватит, но вот им нет сорока, а остается последнее. В этом, бесспорно, своя трагедия. Они не привыкли беречь лицо, последнее за восемь дней снашивается до дыр, во многих местах делается тонким, как бумага; и все больше просвечивает изнанка, не-лицо, и так они вынуждены расхаживать.

Но женщина, та женщина! Она вся ушла в себя, наклонясь вперед, уткнувшись лицом в ладони. Это было на углу *rue Notre-Dame-des-Champs*<sup>1</sup>. Я замедлил шаг, едва я ее увидел. Не надо мешать задумавшимся беднякам. Вдруг до чего и додумаются.

Улица была пуста; ее пустота скучала; она выхватывала шаги у меня из-под ног и громыхла ими как деревянными башмаками. Женщина испугалась, слишком быстро, слишком резко оторвалась от себя, так что лицо осталось в ладонях. Я видел, оно там лежало, пустой обо-

<sup>1</sup> Улица Нотр-Дам-де-Шан (*фр.*), находится в центре Парижа, неподалеку от Люксембургского сада.

лочкой. Мне стоило невероятных усилий удержать взгляд на этих ладонях и не смотреть на то, от чего они оторвались. Страшно было смотреть на лицо с изнанки, но еще больше я боялся голый, ободранной головы без лица.

Я боюсь. Против страха надо сразу принимать меры, едва он в тебе завелся. Ужасно, если я вдруг заболею тут, ведь если кому-то вздумается меня отвести в *Hôtel-Dieu*<sup>1</sup>, я там непременно умру. Он очень удобен, этот *Hôtel*, в него едут и едут. Даже спокойно не полюбуешься видом парижского собора — того гляди, налетит на тебя одна из повозок, на всей скорости несущихся сюда открытым пространством. Это такие маленькие омнибусы, сигналившие пронзительно, без конца, так что самому герцогу Саганскому пришлось бы остановить карету, втемяшась какой-нибудь ничтожнейшей личности срочно отправиться умирать в Божий Отец. Умирующие настырны, и весь Париж обязан застыть, когда мадам Легран, старьевщица с *rue de Martyrs*<sup>2</sup> спешит на некое место в *Cité*<sup>3</sup>. Эти проклятущие повозки, надо заметить, снабжены весьма интригующими оконцами матового стекла, и за ними вы вольны вообразить

<sup>1</sup> Букв. «приют бога» (*фр.*) — парижская больница, построена в VII веке.

<sup>2</sup> улицы Мучеников (*фр.*).

<sup>3</sup> Сите — старинный район Парижа.

изысканнейшие агонии. На это достанет воображенья консьержки. Если же у вас фантазия побогаче — тут для нее буквально безграничный простор. Но видел я и открытые дрожки, наемные дрожки с откинутым верхом и нанятые по самой обычной цене: два франка за смертный час.

Этот прелестный отель — чрезвычайно старинный. Уже во времена короля Хлодвига<sup>1</sup> умирали здесь на немногих кроватях. Теперь умирают на пятистах пятидесяти девяти. Разумеется, фабричным способом. При такой огромной продукции каждая смерть уж не отделяется столь тщательно; но ведь это неважно. Важно количество. Кому нынче нужна безусловно выполненная смерть? Никому. Даже богачи, которые уж могли бы позволить себе умереть со всей обстоятельностью, и те мало-помалу начинают небрежничать. Желание умереть своей собственной смертью встречается реже и реже. Еще немного, и она станет такой же редкостью, как своя собственная жизнь. Господи! Ведь как бывает. Ты приходишь, жизнь тебя поджидает, готовенькая, остается только в нее влезть. Ты хочешь, или тебя принуждают уйти — и опять ни малейших усилий. *Voilà votre mort, monsieur*<sup>2</sup>.

<sup>1</sup> Хлодвиг (ок. 466–511) — основатель Франкского королевства.

<sup>2</sup> Вот ваша смерть, сударь (фр.).

Умираешь как попало. Умираешь той смертью, которая положена твоей болезни (ведь поскольку мы знаем теперь все болезни, мы знаем, что тот или иной летальный исход положен данной болезни, а не данному лицу; и больному, как говорится, просто нечего делать).

В санаториях, где умирают так дружно и с такой благодарностью к врачам и сиделкам, умираешь той смертью, какая в данном заведении заведена — это весьма поощряется. Но когда умираешь дома, естественней избрать почтенную смерть из хорошего круга, как бы кладущую начало погребению по высшему чину и соответственным пышным обрядам. Бедняки толпятся под окнами и наслаждаются зрелищем. У них-то самих смерть банальнейшая, совершенно без церемоний. Хорошо еще, если попадется хоть сколько-нибудь подходящая. Когда велика — не беда: всегда ведь вытягиваешься чуть-чуть. Вот когда не сходится на груди, когда жмет — тогда дело хуже.

Когда я возвращаюсь мыслями к родному дому, где никого уже не осталось, я думаю, что прежде было иначе. Прежде люди знали (а быть может, догадывались), что содержат в себе свою смерть, как содержит косточку плод. Дети носили в себе маленькую смерть, взрослые большую. Женщины ее носили в утробе, мужчины — в груди. Она у тебя была, и это тебе

придавало особенное достоинство и тихую гордость.

Еще по деду моему, старому камергеру Бригге, видно было, что он носил в себе свою смерть. И какую! Протяженностью в два месяца и до того громкую, что слышно по всей округе.

Длинный старый господский дом был для нее мал. Впору, казалось, пристраивать еще боковые крылья, ибо тело камергера делалось все больше, и он все время требовал, чтобы его переносили из комнаты в комнату, и безмерно гневался, когда к исходу дня не обнаружилось комнаты, где он еще не лежал. Тогда-то целая процессия лакеев, горничных и собак, которых всегда он держал при себе, под водительством дворецкого сопровождала его наверх, в ту комнату, где умерла его досточтимая матушка. Комната стояла в том точно виде, в каком она ее оставила двадцать три года назад, и с той поры никто не переступал порога. И вот туда ввалились всей ватагой. Шторы отдернули, и крепкий летний свет шарил по робкой, вспугнутой мебели, неуклюже тыкался в поспешно обнажаемые зеркала. Люди вели себя ему под стать. Горничные девушки так волновались, что не знали, куда девать руки, молодые лакеи на все глазели, разиня рты, слуги постарше слонялись из угла в угол, припоминая, что было им говорено про

запретную комнату, где так счастливо они вдруг очутились.

Но собаки, кажется, особенно наслаждались комнатой, где каждая вещь пахла по-своему. Длинные тощие русские борзые с любопытством заглядывали за кресла, покачивающейся танцевальной поступью пересекали паркет, вставали на дыбы, как геральдические щитоносцы, и, положив узкие лапы на белые золоченные подоконники, вертели сторожками, острыми мордами и поглядывали в сад. Маленькие перчаточно-желтые таксики невозмутимо устраивались в просторном шелковом кресле у окна, а жесткошерстый угрюмый легавый пес терся спиной о край золотонного столика, до дрожи пугая севрские чашки на расписной столешнице.

Да, для рассеянных, сонных вещей наступило ужасное время. Из книги, неловко распахнутой торопливой рукой, выпадал розовый лепесток и погибал, растоптанный, мелкие, слабенькие безделки в грубых пальцах тотчас ломались и, битые, поспешно водворялись на место; обломки совали за шторы, забрасывали за золоченую каминную решетку. И то и дело падало что-то, глухо падало на ковер, звонко падало на жесткий паркет и всегда разбивалось — громко раскалывалось или разлеталось беззвучно; изнеженные предметы не могли перенести паденья.